



Герберт Уэллс

Бэлпингтон Блэпский



Перевод с английского
Марии Богословской

ФТМ



Герберт Уэллс

Бэлпингтон Блэпский

«ФТМ»

1933

Уэллс Г. Д.

Бэлпингтон Блэпский / Г. Д. Уэллс — «ФТМ», 1933

ISBN 978-5-44-673408-5

Теодор Бэлпингтон, мальчик из обычной английской семьи, живет в мире грез, где он окрестил себя Бэлпингтоном Блэпским. С годами отважный и романтичный Бэлпингтон Блэпский все чаще подменяет в реальной жизни неуверенного в себе Теодора. Герой взрослеет, оставляя в памяти только приятные ему события, пусть и выдуманные. В начале войны юноша не хочет идти на фронт и убеждает всех, что его забраковали врачи, – и некоторое время спустя сам искренне верит в эту ложь. Несправедливо отвергнутый влюбленный, храбрый офицер, непризнанный писатель – Бэлпингтон примеряет все эти образы. В конце концов Теодор доказывает сам себе, что он вправе строить жизнь так, как ему вздумается – и прошлое, и настоящее: «Что было неправдой, теперь стало правдой».

ISBN 978-5-44-673408-5

© Уэллс Г. Д., 1933

© ФТМ, 1933

Содержание

Глава первая	6
1	6
2	9
3	10
4	13
5	17
Глава вторая	18
1	18
2	21
3	25
4	27
5	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Герберт Уэллс
Бэлпингтон Блэпский
Приключения, позы, сдвиги, столкновения
и катастрофа в современном мозгу

© Перевод. М. Богословская, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

Глава первая

Его рождение и ранние годы

1

Раймонд и Клоринда

Было время, когда он чувствовал, что не должен называть себя Бэлпингтоном Блэпским. Хотя он и называл себя так только мысленно. Он никогда не называл себя Бэлпингтоном Блэпским ни одной живой душе. Но про себя он делал это постоянно. И это незаметно действовало на его психику. Иногда эти слова как-то помогали ему, а иной раз оказывались помехой.

В течение нескольких лет он очень старался не быть больше Бэлпингтоном Блэпским, а быть попросту тем, чем он был на самом деле, что бы это, в сущности, ни было.

Это было в то трудное время, когда он чувствовал, что растет, но растет не совсем так, как следовало бы. Ему пришлось вести жестокую борьбу. Он поддался каким-то чуждым ему влияниям, в особенности влиянию этих Брокстедов, его друзей и соседей. Он тогда твердо решил не отворачиваться от фактов, а смотреть им прямо в лицо. Он уходил бродить один и шептал про себя: «Я просто Теодор Бэлпингтон, самый обыкновенный мальчик». Но и тут он ловил себя на том, что сбивается на громкие фразы, которые изобличали его. «Недостойно Бэлпингтона Блэпского отворачиваться от грубого лица действительности».

С течением времени, как это будет явствовать из нашего повествования, его сопротивление постепенно ослабевало. Привычка воображать себя Бэлпингтоном Блэпским стала менее навязчивой, но не исчезла. Постепенно она возродилась, стала еще сильнее. Она завладела им, победила его. Как это произошло, вы узнаете из этой повести.

Бэлпингтоном он именовался вполне законно. Но существовали и другие Бэлпингтоны, и кое-кто из них был гораздо значительнее, чем он. Так что дополнение Блэпский было неоправданно.

Отец его, поэт и критик, со слабыми легкими, жил в Блэйпорте. Мать его была одной из десяти дочерей Спинка, которые все до единой вкусили ранних незрелых плодов высшего женского образования. Братьев у них не было. Старый Спинк, не смущаясь этим феминистским уклоном своих хромосом, заявил: «Каждая из моих дочерей будет не хуже мужчины». Клоринда, четвертая из них, если судить по ее браку, оказалась лучше. Ибо Раймонд Бэлпингтон, ее супруг, в конце своего пребывания в Оксфорде забросил учение, сменив его на эстетический образ жизни. Он, признаться, был не пара Клоринде. Она вышла за него, не подумав. Когда вы одна из десяти сестер, брак грозит обратиться для вас в нечто вроде свалки вокруг жениха. Ей хотелось, чтобы муж ее был незаурядной личностью, ей хотелось блеснуть его интеллектуальностью. И она спешила. Он показался вполне подходящим.

Это была смуглая, крепкая, хорошо сложенная девушка с неутомимой энергией и необыкновенно широким умом. Она во всем устанавливала, как говорится, двойной рекорд, пока дело не дошло до потомства. Ей бы следовало родить близнецов и таким образом завершить свой рекорд, но Теодор – возможно, из-за какого-нибудь недостатка Раймонда – был ее единственным ребенком.

Бракосочетание состоялось в славные дни царствования королевы Виктории, когда Уайльд и Уистлер были великими светилами на горизонте артистического мира, а «Псевдонимы» и «Лейтмотивы» стояли рядом в книжных лавках. Запад только что открыл русский роман и скандинавскую драму. Фрэнк Гаррис заполонил «Сатерди рэвью», а Обри Бердслей украшал «Желтую библиотеку». Смутные воспоминания о Ренессансе сквозили в костюмах и

нравах эпохи: кринолин был упразднен, а протестантство уже начинало казаться безвкусным и плоским. Либерализм и Свобода уступали место Вольности и Страсти. Дочери Спинка все до одной катались в шароварах на велосипеде, и некуда было деваться от их папирос. Но они отнюдь не интересовались гольфом, этой игрой для старых, чудаковатых джентльменов, и с необыкновенным азартом играли в теннис.

Отец Теодора покинул Оксфорд с блестящей репутацией блестящего молодого человека, не менее многообещающего, чем насиженное яйцо, но уже в раннем детстве Теодора он перешел на положение инвалида. У него был короткий лучезарный период холостой жизни в Лондоне: студии, кафе «Рояль», эпиграммы перед завтраком и блестящая будущность, самоутверждающаяся в язвительных выпадах по адресу общепризнанных имен. Он сотрудничал в «Сатерди рэвью» и в «Желтой библиотеке», рисовал женские фигуры *blanc et noir* невиданных, умопомрачительных форм и играл поистине выдающуюся роль в модном движении того времени – «Возрождении». Тут-то Клоринда и заполучила его. Связь их была сумасбродной выходкой; сумасбродство было в ходу в то время; юная чета сбежала в Сетфорд за две недели до бракосочетания, и старик Спинк, не помня себя от позора, грозился застрелить Раймонда и только отчасти умиротворился запоздалой брачной церемонией.

Раймонд и Клоринда заявили, что брак не накладывает на них никаких обязательств, и изо всех сил старались вести себя соответственно. Они жили в двух смежных, а иногда и несмежных мастерских, давая повод к весьма оживленным пересудам до тех пор, пока Раймонд не подорвал себе здоровье.

Он захворал вскоре после появления на свет Теодора. Ему рекомендовали морской воздух и сухую почву, они перебрались в маленький старинный городок Блэйпорт, и Раймонд со всем пылом погрузился в историю варягов – труд, который должен был затмить труды Доути, но который он так и не удосужился написать. Из этого труда в конце концов ровно ничего не получилось, и, чтобы пополнить свои доходы во время этой работы, он издавал классиков, затевал переводы, состоял консультантом у какого-то продувного издателя и, расточая похвалы молодым людям, завлекал их в когти этого мошенника. Клоринда между тем приобрела себе сезонный билет в Черринг-Кросс и делила свой досуг между семейной жизнью в Блэйпорте, визитами в свет и обхаживанием преуспевающих артистов и передовых мыслителей Лондона. Старый Спинк умер и оставил после себя меньше, чем от него ждали, так что Бэлпингтоны вынуждены были по-прежнему жить в тесных рамках строго ограниченного бюджета. Но даже в Блэйпорте они жили отнюдь не в уединении; это был солнечный зимний курорт, и интеллигентная публика охотно съезжалась пожить в этом местечке и не отказывала себе в удовольствии заглянуть к супругам и послушать, как Раймонд разделявает современность. Никто, кроме Раймонда, не мог угостить вас таким фаршем из современности.

Оба, отец и мать, уделяли немало бессвязных размышлений проблеме воспитания Теодора. В Лондоне Клоринда нахваталась всевозможных идей насчет воспитания, знакомые приносили с собой всяческие идеи в Блэйпорт, а Раймонд находил их в книгах. Это было поколение исключительно плодотворное на воспитательные идеи. Оно мирно катилось потоком вооружения к Великой войне, разглагольствуя о благе воспитания детей и обеспеченном будущем человечества. Батлер и Шоу посеяли в широкой публике убеждение, что школы никуда не годятся, и Теодор довольно рано проникся этим убеждением и не очень усердно посещал школу. Это по крайней мере хоть было ему на руку.

Но ему ничего не дали взамен школы. Его просто оставили без образования. Наиболее распространенная воспитательная теория того времени отрицала дисциплину и запугивание. Поэтому родители Теодора не позволяли себе никоим образом ни дисциплинировать, ни запугивать его. Он был отдан на попечение верной няньке, которая впоследствии уступила место некоей полиглотке, благородной русской особе, эмигрировавшей из страха политических преследований. Через некоторое время она исчезла, увязавшись в качестве любовницы за одним из

случайных интеллектуальных посетителей, который, выражаясь попросту, прихватил ее вместе со своим багажом, а на смену ей явилась португальская особа. Но ее сотрудничество с Раймондом в переводе «Лузиады» привело к бурной катастрофе прежде, чем Теодор успел приобрести хотя бы самые поверхностные представления о красочной португальской брани. Ее сменила добросовестная шведка, которая вот уж действительно никогда не нравилась Раймонду. У нее были ужасные икры, но он все же терпел ее ради мальчика. Ей отказали от места, потому что Клоринда не могла вынести упорства, с каким она отдавала предпочтение шведскому методу ведения хозяйства перед британской системой, и вслед за этим наступило междуцарствие.

После междуцарствия Теодор поступил в Сент-Артемас, местную школу, где отсутствовало телесное наказание, но поощрялась живопись, металлопластика и морские купания. При этом режиме у него обнаружились значительная лингвистическая восприимчивость, упорная неспособность к математике и несомненные артистические склонности; кроме того, он жадно поглощал романы, исторические книги и стихи. Он сам начал писать стихи с удивительно раннего возраста и рисовал, не соблюдая правил, небрежно и своеобразно. Он делал успехи в музыке, не презирал только самых великих композиторов и рассуждал преждевременно о всяких вполне взрослых занятиях. И в тайниках своего сердца, для утоления какой-то неудовлетворенной потребности, он был Бэлпингтоном Блэпским.

Что до Блэпа – это, как он говорил себе, было древнее название Блэйпорта. Признаться, у него не было никаких доказательств, что Блэйпорт в древности носил такое название. Учительница истории в школе рассказывала им о древних названиях и о том, как они искажались с годами. Она говорила о Брайтельстоне, превратившемся в Брайтон, Лондиниуме, который потом стал Лондоном, и о Портус Леманус, который сократился до Лина. Как-то в припадке веселости на пляже он, Фрэнколин и Блетс пародировали урок. Они выдумывали более остроумные и более удачные варианты для бесчисленного количества знакомых имен, привнося в это большей частью легкий, приятный душок нескромности. Чем бы мог стать Блэйпорт? Бляппи, Бляппот, Блэйпот или Блэп? Фрэнколину понравился Блэйпот, и он запел: «Блэйпот, ты мой оплот, лети, мой штиблет, через Эдомский хребет».

Блэп поразил воображение Теодора, прямо-таки завладел им. *Блэп* – это напоминало громадный утес, риф, это звучало, как плеск волн, это вызывало в представлении шайку пиратов, отчаянных молодцов, укрывавшихся здесь, и все они звались Бэлпингтоны. И среди них вожак, атаман шайки, несмотря на свой юный возраст, первый из всех – Бэлпингтон Блэпский. Итак, он замечтался и предоставил Фрэнколину расправляться как угодно с Блэйпотом, носиться с ним, выворачивать его, валить в него всякие объедки. Блэп – это было его слово.

2

Укрепление Блэпа

Было что-то неустойчивое и ускользающее в этом Блэпе. Он никогда не был в точности Блэйпортом, – он был гораздо скалистее, а вскоре он совсем обособился и принялся блуждать по свету. Его ландшафт приобрел некоторое сходство с горной Шотландией, хотя это было по-прежнему убежище морских пиратов. Он то становился изрезанной, скалистой бухтой, наподобие норвежского фьорда, то прятался в чудовищные ущелья. Затем он вдруг отступал в глубь страны и превращался в дикую гористую местность, где тянулись непроходимые зеленые леса и белые дороги вились, как змеи. Его видно было очень далеко, в особенности в часы заката. У него были стены и башни из желтовато-белой горной породы, блестевшие, как слюда, а на крепостных валах всегда стояли неподвижные и зоркие часовые. Когда пушечный выстрел оповещал о заходе солнца, громадное вышитое знамя Бэлпингтона опускалось складка за складкой, складка за складкой, золотое шитье и сверкающий шелк, и уступало место маленькому штормовому флажку, который всю ночь развевался по ветру.

А иногда Блэп почти исчезал за пределами видимого горизонта, и тогда Бэлпингтон, таинственный изгнанник, бродил неузнанный, непонятый – хрупкий, темноволосый мальчик, слоняющийся, по-видимому, без всякой цели, школьник, всячески угнетаемый учительницей математики, презрительный скиталец среди вульгарных шутов, разгуливающих на пляже, ждущий своего времени, чтобы подать знак, который изменит все.

И тут наступал военный период, когда Блэп, объявленный на военном положении, отражал осаду, именовавшуюся впоследствии в тайной истории мира осадой Блэпа.

Касталонцы в их необыкновенном вооружении, в черных панцирях и с саблями наголо, предводительствуемые принцем в маске, за которым шла наглая, разнузданная свита, наступали на Блэп. С моря через горы, тремя окольными путями, они шли на него приступом. Это была нелегкая задача для одного ума – рассчитать и предвидеть все возможности этой битвы, а ведь к Блэпу вели еще и подземные ходы, запутанные, сложные...

– Хотел бы я знать, о чем ты задумался, Теодор? – спросил его как-то раз один из случайных гостей отца.

– Я просто думал, – сказал Теодор.

– Да, но о чем?

Теодор поискал у себя в памяти какой-нибудь достойной для понимания гостя темы и выхватил кусочек обеденного разговора, который происходил в прошлое воскресенье.

– Я думал, почему это Берлиозу так часто недостает истинного величия.

– Боже! – воскликнул гость, точно его кто-то ужалил, и, вернувшись в Лондон, бросился всем рассказывать, что Раймонд и Клоринда произвели на свет такого невообразимого кривляку, какого еще мир не видывал.

– К счастью, кажется, очень хилый мальчик, – добавлял он.

3

Дельфийская Сивилла

Когда-нибудь, быть может, через несколько лет, психологи смогут дать нам более ясное представление, каким образом такой персонаж, как Бэлпингтон Блэпский, случайный гость, пришелец, осваивается и начинает существовать среди бесконечно тонких сплетений клеток и тканей человеческого мозга и как он ухитряется собрать вокруг себя те видимости и следы подлинного переживания, которые необходимы для его призрачной жизни.

Он всегда сознавал себя пришельцем и призраком, и, однако, он упорно цеплялся за себя и вечно обменивался пожеланиями, ощущениями и умозаключениями с тем, другим существом, которое главенствовало рядом с ним и над ним и которому он, однако, внушил подписываться «Тео Бэлпингтон», с таким хилым «о» в слове «Тео» и с таким замысловатым и длинным росчерком в конце, что это, в сущности, получалось не что иное, как словечко «Блэпский», задушенное прежде, чем оно появилось на свет.

Этот пришелец, этот внутренний персонаж подавлял мыслительную жизнеспособность Теодора, силился управлять им; он привил ему эту как бы прислушивающуюся к себе нерешительную манеру держаться, которая так отличала его; возможно, он был причиной его легкого заикания. Сквозь туман его побуждений и стимулов, его несформулированных, но все же влиятельных суждений, властных, хотя и смутных желаний, действительный мир, мир, опирающийся на грубые показания опыта и свидетельства окружающих, отражался преломленным в сознании Теодора. Пришелец не мог разрушить и уничтожить могущество этой реальной действительности, но он оставался живым протестом против нее, и он мог распространять свое магическое очарование на прошлое и будущее, пока они не становились его собственностью.

В мире Теодора Блэйпорт всегда был Блэйпортом, всегда на Ла-Манше и всегда на одном и том же расстоянии от Лондона. Первый дневной поезд с вокзала Виктория приходил в Блэйпорт очень точно, не раньше 5.27 и очень редко позже. В этом людном приморском местечке неизменно, с несокрушимым постоянством находился дом Теодора. Он не помнил другого дома и даже не представлял себе, что может быть какой-нибудь другой. Погода менялась помимо его воли, переходя от влажного юго-западного ветра с серым, волнующимся морем, которое билось и пенилось у эспланады, к буйному юго-западному вихрю со сверкающими в голубом небе белыми облаками, к восточному ветру с привкусом черно-синих чернил, который делал весь мир похожим на рисунок пером, с жестким, невозмутимо синим небом, и снова к влажному юго-западному ветру, разражающемуся ливнем, разбрасывающему со свистом по асфальту комья морской пены.

Часы шли, попирая его желания, – обеденное время и школьные часы вечно были помехой, а ночь приходила незваная. Праздники стремительно летели к концу, а учительница математики могла, подобно Иисусу Навину, останавливать время. Мир Теодора был полон скуки, обязанностей и подавленных желаний.

Отцу и матери, обоим, недоставало какой-то законченности в этом мире. Множество всяких вещей, касающихся отца и матери, были вытеснены из его сознания так, что он даже не подозревал этого. Однако множество всяких вещей оставалось в поле его наблюдений. У отца было красивое, мрачно-брюзгливое лицо, и он вечно был недоволен всем на свете. От постоянно дующего здесь юго-западного ветра его не очень густые, длинные волосы всегда были сильно взлохмачены. Глаза у него были цвета красной меди, а сорочки он носил светло-желтые, с открытым воротом. Мать Теодора вне дома была так непохожа на ту, какой она бывала дома, – костюм мужского покроя и гетры на улице и просторная медлительная мягкость домашнего утреннего капота, незаметно сменявшаяся обеденным туалетом по мере того, как подвигался день, – что казалось, будто это были два совершенно разных человека. В комнате всегда стояли

маки, подсолнечники, георгины, астры и еще какие-нибудь такие же большие пламенные цветы в громадных обливных глиняных вазах, и всюду были разбросаны окурки. Белых цветов она не выносила. Служанки появлялись и исчезали. Одна из них, которую выпроводили с громким скандалом, обозвала Клоринду «курчавой старой коровой». Это способствовало тому, что Теодор в течение некоторого времени представлял себе свою мать в несколько своеобразном свете.

Раймонд уходил один в далекие прогулки. Он очень гордился своим неутомимым волчьим шагом. Когда он бывал дома, он обычно читал или писал за длинным дубовым столом, стоявшим у окна и заваленным книгами. Или разговаривал. Или спал. Теодору было известно, что, когда Раймонд пишет или спит, маленьких мальчиков не должно быть слышно, но Раймонд не только не слышал Теодора, но и видел его очень мало. Впрочем, он позволял ему перелистывать страницы любой книги, которая ему нравилась, и иногда говорил: «Ну-с, человек», – и весьма благодушно ерошил ему волосы.

Кабинет Раймонда был обставлен строго, с большим вкусом. Выбеленные стены, множество неприбранных книжных полок из некрашеного дуба и несколько прекрасных китайских ваз. Там стояло старинное, еще добродвудское фортепьяно, из тех, что ошибочно называют «спинетами», а позднее появилась пианола. Раймонд разыгрывал на своем Клементи – и даже довольно изящно, – Скарлатти, Перселла, а иногда и Моцарта. Он считал, что пианола служит для того, чтобы напоминать ему о музыке, и только из-за этого он держал ее у себя. Он никогда не позволял себе сказать, что пианола играет. Он говорил: «Ну-ка, давайте пропустим через эту колбасную машину кусочек Вебера, или Баха, или Бетховена». В доме много говорили о музыке, и когда Раймонда не было дома, Теодор сам пропускал через машину Бетховена, Баха, Брамса и даже Берлиоза. В глубине души, не признаваясь в этом даже самому себе, он больше всего любил Берлиоза, потому что, когда он играл его, в особенности «Фантастическую симфонию», Бэлпингтон Блэпский, мрачный и великолепный, беспрепятственно водворялся в его воображении и вырастал до грандиозных размеров. А Теодор исчезал. Русская музыка и русский балет в то время еще не привились в Англии; им на долю выпало волновать его юные годы.

Клоринда уезжала в Лондон на целый день, а иногда и на несколько дней по каким-то своим делам. «Прошу тебя, не переходи границ», – напутствовал ее Раймонд. По возвращении она снова облакалась в свои томные, артистические пеньюары, и ее нежность к Раймонду становилась особенно очевидной и обильной. Как если бы она купила там роскошный подарок – запас новых ласк для него. Он принимал их без всякого энтузиазма.

В ее отсутствие Раймонд и Теодор мало видели друг друга. Теодору иногда хотелось, чтобы служанки и гувернантки, которых выбирала Клоринда, были несколько миловиднее и более склонны к романтике.

Единственным возможным романтическим союзником Теодора была гувернантка португалька, но когда Клоринда уезжала в Лондон, сотрудничество между сей молодой особой и Раймондом становилось столь усердным, что Теодора отсылали на пляж, чтобы он поиграл один. Временами он все же испытывал действие ее непонятного медлительного очарования. Но у нее была привычка называть его разными уменьшительными именами, и она вечно переводила разговор на характер и вкусы его отца. Теодору было вовсе не интересно обсуждать, парадоксальный ли человек его отец, заботится ли он о спокойствии Клоринды и очень ли он страшен, когда рассердится.

Одно время к ним в дом зачастил некий белокурый молодой человек, который поселился в Блэйпортской бухте. Он разговаривал с Клориндой тихо и, так сказать, по секрету; а на людях громко, сдержанно-неприятным тоном беседовал с Раймондом. Мужчины разговаривали о средневековых мистериях, о немецком кукольном театре, язвительно соглашаясь друг с другом. Молодой человек был очень увлечен придумыванием народных танцев и изящных сельских ремесел, которые англичане должны были бы иметь, даже если в действительности они их

не имели, и Клоринда очень воодушевлялась всем этим. Она находила его очень стильным – в стиле позднего Средневековья. Однажды в какой-то полупраздничный день Теодор, которого отослали играть на пляж, вернулся за волшебным стеклом, принадлежащим Бэлпингтону Блэпскому. Он вошел тихонько на цыпочках, так как Раймонд в это время обычно ложился подремать.

В гостиной он увидел Клоринду и белокурого молодого человека. Они расположились на софе ампир. Губы их были слиты, и рука молодого человека, так примерно до локтя, была зондирующим образом засунута в обширное декольте пеньюара Клоринды. Присутствие Теодора было обнаружено, только когда он уже уходил.

Именно после этого ему купили башмаки вместо сандалий и Клоринда заявила ему, что он должен вести себя, как мужчина, а не подкрадываться потихоньку всюду, куда не следует. Она прибавила, что это действует ей на нервы. И тут взаимоотношения Теодора Блэйпортского с Бэлпингтоном Блэпским предстали в совершенно ином свете. Стало совершенно ясно, что их подменили, едва только они появились на свет.

На некоторое время этот чудесным образом подмененный Бэлпингтон Блэпский совершенно вытеснил Теодора, сына Клоринды. Настоящая мать Бэлпингтона Блэпского ничем не напоминала Клоринду. Какова она была, не было установлено точно. Иногда такая, иногда другая. Одно время она напоминала Британию на картинках в «Панче», потом стала похожа на Леонардову «Мадонну в гроте», висевшую в спальне Клоринды. Потом стала темной, большой, мягкой. Лица ее не было видно, но рука ее обнимала вас. Еще она была как «Спящая Психея» Прюдона, такая спокойная и любящая. Очень недолго, какой-то почти неуловимый промежуток времени, она была Дельфийской Сивиллой с большого плафона Микеланджело.

Но это была неправда, это было отвергнуто и вычеркнуто из памяти, как немыслимая ошибка. Дельфийская Сивилла была слишком молода. У нее было слишком юное лицо. Иная судьба звала за собой это прелестное существо с большими, кроткими очами, эту пробуждающую юность.

Говорите об этом тихо, шепотом – она стала верной подругой, возлюбленной Бэлпингтона Блэпского. Нерешительная мягкость детства постепенно, день ото дня, уступала место более самостоятельному отрочеству, и он начинал ощущать потребность в женской дружбе, крепкой женской дружбе, и забывать о том, как он нуждался в защите.

В боевых доспехах она скакала рядом с ним по лесной чаще Волшебной Страны, его подруга, его товарищ, любимый товарищ. Никаких глупостей, никакой кислятины, никакой такой ерунды. Она владела шпагой так же искусно, как он; она могла метнуть копье почти так же далеко. Но все-таки не совсем. Она была бесстрашна, даже слишком бесстрашна в этих дебрях, где приверженцы касталонского лагеря могли притаиться в любой заросли.

Бэлпингтон Блэпский проводил все больше и больше времени в ее обществе по мере того как подрастал Теодор; он говорил с ней в своих мечтах, и разговор с ней делал его мечты менее призрачными, менее ускользающими, чем прежде. Он придумывал выражения, фразы, потому что слова и образы роились в его воображении. Он рассказывал ей о днях своего изгнания, о своей таинственной дневной жизни изгнанника в Блэйпорте. Иногда это унижение представлялось им каким-то колдовством, но обычно и он и она считали, что он скрывается нарочно, что эта маскировка – временное самоотречение ради великих целей.

Никогда никому ни слова обо всем этом. Наступит время, и все откроется. А пока мы позволяем считать нас сыном этого народа, мы, мастер Теодор Бэлпингтон, известный среди своих сверстников и приятелей под именем Фыркача или Бекаса.

Но в кровати, когда он уже почти засыпал, как близко она наклонялась к нему! Подушка становилась ее рукой. Она дышала рядом с ним, не говоря ни слова и все же радуя его сердце. И никакой такой пошлятины, знаете, ничего даже похожего на это, а просто так.

4

Бог, пуритане и мистер Уимпердик

Разговоры в этом изысканном доме в Блэйпорте были обильны, многообразны и возбуждающи. Ничто не считалось запретным для маленького слушателя. «Для чистого все чисто, – говорила Клоринда. – То, что нас не касается, не оставляет в нас следа». Да и потом, стоит ли ломать себе голову из-за этого? Теодор пользовался по своему усмотрению и распоряжался, как умел, тем, что он слышал, и тем, что он извлекал из всевозможных книг, которыми изобилдовал дом.

Каждый день эта юная жадная мозговая кора впитывала тысячи новых вещей, слов, фраз, представлений, звуков и сплетала десять тысяч новых связующих нитей между новым и старым. Она инстинктивно делала все, что могла, чтобы получить цельную картину окружающей ее вселенной.

Поверх этой вселенной и сквозь нее текли маленькие события жизни Теодора, случаи и происшествия на улице и на пляже, случайные домашние уроки, вымученные и якобы преследующие какую-то цель, – уроки гувернанток, школьных учителей, книги, картины, теперь уже и журналы и газеты, и потоки и каскады домашних разговоров.

Разговоры велись о музыке, о варягах и падении Западной империи, о новых книгах, о старых книгах, которые Раймонд издавал и к которым он писал предисловия, о красоте и богатстве слов и фраз, о новой и старой поэзии, о манерах и нравах, о недостатках отсутствующих и об отличительных свойствах присутствующих, о нежелательности новых веяний в искусстве, литературе и нравах, веяний, которые возникли уже после тех великих дней, когда Раймонд был гением новаторства в кафе «Рояль» (но Клоринда считала, что новое все же допустимо). Затрагивали даже и религию. Но законов и текущей политики не касались, так как это считалось чем-то слишком уж злободневным, газетным и поверхностным, чтобы быть достойным внимания. А коммерция – это грязное дело.

В те дни большинству мальчиков и девочек внушалось, что всякое представление о вселенной всецело связано с Богом. Они поручались ему непрестанно; их поучали страшиться его любви примерно так же, как и его гнева. Он сотворил их, он сотворил все; он всюду. Или, во всяком случае, он где-то невообразимо, чудовищно близко, прямо над головой. Только по мере того как они становились старше, они начинали постигать его как Великого Отсутствующего. Он сотворил их – он сотворил все. Да, но потом они постепенно уясняли – он, по-видимому, исчез. Он не был повсюду. Он не был нигде. Он давно покинул небеса для бесконечного пространства. Он просто исчез.

Но никогда этот Бог не имел какого-либо определенного облика в мозгу Теодора. По сравнению с отчетливым и конкретным Бэлпингтоном Блэпским Бог существовал только в виде какой-то темной угрозы на заднем плане. По сравнению с прелестным лицом и живительным присутствием Дельфийской Сивиллы он был чем-то бесконечно далеким. Прислуга и одна из гувернанток делали попытки облечь плотью в сознании Теодора это слово «Бог», эту великую идею, на которой, как принято считать, мир веками зиждет свою веру. При этом они особенно напирала на то, что «он может отправить тебя в ад», и на прочие теологические обстоятельства; но даже бесхитростная вера слуг теряла свою силу убедительности в те дни. Ад в представлении Теодора входил в коллекцию пейзажей в виде знойной песчаной пустыни среди голых скал, с резвыми бесами и весьма приятными для глаз тоненькими ниточками вертикального дыма, выходящего из-под земли. Но это было далеко не так устрашающе, как кра-тер Везувия или Мальстрем. Те были действительно ужасны.

И никогда мысль о Всевидящем Оке не врывалась угрозой в скрытую жизнь Теодора. Только позднее, когда он уже был молодым человеком, он постиг тайное значение своего собственного имени.

В школе ему приходилось заучивать Библию стих за стихом и даже готовить к экзамену Книгу Царств и Чисел, но в Библии не столько говорилось о Боге, сколько о евреях; а Раймонд внушил Теодору не очень лестное представление о евреях.

История Нового Завета не трогала неподготовленное сердце Теодора, и на картины распятия, даже репродукции величайших мастеров, он смотрел с ужасом и отвращением. Он поскорей переворачивал их и спешил перейти к Венерам и Сивиллам. Для него с самого начала это была мифологическая история, и притом очень неприятная. Выходило, что сын был пригвожден таким варварским образом к кресту своим собственным отцом. Потому что этот отец был недоволен тем, что мир, созданный им, погряз во грехах. Ужасный рассказ, настолько же омерзительный, насколько бессмысленный. У Теодора при одной мысли о нем начинали ныть ладони. Он вызывал у него неприятные чувства к Раймонду. Однажды, когда Раймонд вешал какую-то картину, Теодора объял ужас, и он, вместо того чтобы подавать ему гвозди, выбежал из комнаты. Он рос почти совершенно безбожным мальчиком, безбожным и чуждающимся мысли о Боге, и только уже гораздо позднее у него начал пробуждаться некоторый интерес к божественному.

Однако в этом маленьком центре культуры и интеллектуальной деятельности терлось достаточное количество религиозной публики, и даже профессионально-религиозной. Были два-три священника, которые, по-видимому, находились в прекрасных отношениях с Раймондом, пухлые, гладкие мужчины с приятными манерами и привычкой рассеянно и небрежно похлопывать маленьких мальчиков, мужчины, любившие плотно поесть и выпить и носившие золотые кресты и медали и прочие забавные штуки на лоснящемся черном брюшке, и был Енох Уимпердик, видный новообращенный церковник, ныне ревнитель католицизма, маленький, круглый, свирепо улыбающийся человек с вечной одышкой, перемежающейся ехидным хихиканьем. Он весь оброс жиром, который как-то не шел к нему. Казалось, он носил жир гораздо более крупного человека. Жир висел у него на шее, набухал над кистями рук, голос его звучал так, словно и горло у него было забито жиром, сквозь толщу которого с трудом пробивался звук, и, казалось, даже глаза у него заплывли жиром – их точно выпирало из орбит. Волосы у него были черные, жесткие и очень густые там, где им полагалось расти, но они сплошь и рядом торчали там, где им вовсе не полагаюсь. Брови у него были, как иступленные зубные щетки, пропитанные иссиня-черными чернилами. Казалось сомнительным, брил ли он верхнюю губу; по всей вероятности, он просто подстригал растительность ножницами; а про его синие щеки и подбородок можно было бы сказать, что они еле выбриты в отличие от гладко выбритых. Его неровные шустрые зубы, казалось, что-то подстерегали, а не выполняли свое естественное назначение в его широко улыбающемся рту. Клоринда за его спиной говорила, что ему следует пореже улыбаться или почаще чистить зубы. Но она с ним отлично ладила. «Вы бесподобная атеистка, – пыхтел он. – Я буду молиться за вас. Вы латинянка, и мыслите вы логически, нам с вами не о чем спорить. Вы католик отрицающий, а я католик утверждающий. Переходите на мою сторону».

«Бесподобный» было его отличительное словцо, он привез его с собой в Блэйпорт, и оно привилось в доме Теодора. Раймонд подхватил его, но чуточку переиначил; он произносил его с полуулыбкой, с легким взрывом чего-то похожего на смех и слабым привкусом отрицания – «бээспадобный». Клоринда никогда не прибегала к этому слову. Но понадобился год, если не больше, после того как визиты мистера Уимпердика прекратились, чтобы слово «бесподобный» заняло свое нормальное место в языке.

Из разговоров вокруг да около и тех, что возникали после ухода мистера Уимпердика, в сознании Теодора прочно укоренилась мысль, что в мире существует совершенно твердое и

четкое подразделение на то, что в нем бесподобно и что нет. Одно из видных мест в категории бесподобных вещей занимало вино, при условии, чтобы оно было красное и в изобилии. Лучше всего было, когда оно появлялось внезапно, по мановению руки, под звуки импровизированной песни. Бесподобен был хороший эль (но не явное пиво), бесподобны были все рестораны. Бесподобна была дубовая мебель, жар горящих поленьев в камине и великое обилие пищи, в особенности дымящейся в котле или зажаренной на вертеле.

Женщины в легкомысленном и бесцеремонном, то есть, собственно говоря, в непристойном смысле, входили в категорию бесподобностей Уимпердика. В особенности пышнотелые и чуточку «распущенные». Вы пылко подмигиваете им насчет чего-то секретного, чего, признаться, вовсе и не было. А потом похлопываете их и говорите, чтобы они убирались вон. Этакие вертихвостки! Но здесь, у взрослых, было, по-видимому, какое-то расхождение в понятиях. Клоринда придерживалась передовых взглядов, а Раймонд – крайне чувственных. «Чувственный» было одно из его любимых словечек. Он всегда цитировал Суинберна и распространялся о «божественном сладострастии». Но Клоринда никогда не говорила о сладострастии и рассуждала преимущественно о свободе. Уимпердик, со своей стороны, обнаруживал нечто близкое к ненависти по отношению к Суинберну. Сдержанной ненависти. Он говорил с видом великодушной терпимости, что Суинберн – бесподобный атеист, и, по-видимому, раздражался, когда с его определением не совсем соглашались. Но Раймонд, находя Суинберна совершенно «бээспадобным», упивался им, возвращался к нему и цитировал его трехфутowymi столбцами.

Уимпердик не любил рассуждать о женщинах. Он размахивал своими короткими руками, давая понять, что все это он допускает, что он совершенно трезво относится к этому вопросу, что и церковь совершенно трезво и терпимо относится к этому вопросу, никакого дурацкого пуританства, ничего даже похожего на это, но что он предпочитает не вдаваться в частности. Церковь никогда не проявляла суровости к плотским грехам, например, к тому, чтобы купаться безо всего или смотреть на себя раздетым в зеркало, и другим более очевидным прегрешениям. Плотские грехи – это простительные грехи. Важные грехи – это грехи гордости, такие, например, как не соглашаться с Уимпердиком и не признавать католическую церковь.

Католическая церковь, по-видимому, была верхом бесподобности. Так же, как и Средневековье, великие мастера, войска со знаменами и кони в сверкающей сбруе. Да, все это было бесподобно. И еще гобелены. Но так можно было продолжать до бесконечности. Мальчик собирал все это вот так же, как иногда на прогулках он собирал букеты цветов. Это был смешанный, но яркий и заманчивый букет.

А против этой бесподобной смеси стояли противники. Это были прогресс, протестантизм, фабричные трубы и безжалостные машины, к которым с чувством глубочайшего омерзения Теодор относил и ненавистную неприступность математики, а еще евреи и пуритане. В особенности пуритане. И либералы, эти проклятые либералы! И Дарвин с Хаксли.

Теодор смутно представлял себе, что такое пуритане, но ясно было, что это нечто омерзительное. Когда-то они обрушивались на цветные стекла и грозили своими каменными физиономиями всем бесподобным возможностям жизни.

Искусство и красоту они преследовали злобной ненавистью. Теодор, гуляя на эспланаде, думал иногда, что бы он почувствовал, если бы вдруг неожиданно встретил пуританина. В драпировочной мастерской Рутса был один трупоподобный человек, который страдал какой-то желудочной болезнью и всегда ходил в черном, потому что он был похоронных дел мастер. Теодору казалось, что, если этот человек и не был в действительности пуританином, он был очень похож на пуританина. Католики открыли Америку, но пуритане в Северной Америке и либералы в Южной Латинской сделали из нее то, во что она превратилась теперь.

Так, католицизм вначале представлялся Теодору чем-то вроде похода, бесподобной битвы всего, что есть в мире красочного и живописного, против евреев, пуритан, либералов,

прогресса, эволюции и всех этих темных и страшных сил. Битва эта должна быть выиграна в конце концов, потому-то так всегда и хихикал Уимпердик. Как некое подспудное течение в этой доблестной борьбе участвовали плотские грехи, бесподобные, если вы не слишком высоко ставили женщину и готовы были проявить снисходительность к мужчинам, а за всей этой католической процессией, непостижимо связанная с ней и никогда явственно не упоминавшаяся Уимпердиком, никогда даже бегло не упоминавшаяся им, существовала эта странная тайна, этот вызывающий содрогание ужас, это Распятие; Сын, пригвожденный здесь на земле и, по-видимому, навсегда покинутый Великим Отсутствующим. И, пожалуй, лучше о нем совсем не говорить. Вот если бы он только не видел его с этими ранами на картине Кривелли. Это мешало быть всегда заодно с «беспо-одобностями» Уимпердика.

Так доходило все это до Теодора. Искаженное, перепутанное, но так оно доходило до него. Религия, католики и пуритане боролись за владычество над миром. Над ним, чуть виднеясь во мгле, сочилось кровью распятие, а в бесконечной дали скрывалась безучастная спина Великого Отсутствующего...

Но как бы там ни было, на переднем плане было искусство, литература и изысканные еженедельники.

Теодор никогда не мог охватить все это сразу. Может быть, это так не вязалось одно с другим, что никто не мог охватить все это целиком. Но он ломал себе голову то над одной, то над другой загадкой этого великого ребуса. Он изо всех сил старался свести воедино все, что изрекали Раймонд, Клоринда, Уимпердик и другие, потому что у него было несомненное тяготение к связности. Выходило, что кто-то ошибался...

– Папа, – однажды сказал он, – ты католик?

– Я? Ну, конечно, католик, я полагаю, да.

– Но ведь католик – это крест, Пресвятая Дева и все такое?

– Ну, не такой уж я образцовый католик, в этом смысле – нет.

– А ты пуританин?

– Боже упаси, нет!

– А ты христианин?

Раймонд повернулся к нему и пристально посмотрел на него задумчивым улыбающимся взглядом.

– Ты не слушал ли кого-нибудь из этих проповедников на пляже, а, Теодор? Похоже, что да.

– Я просто думал, – сказал Теодор.

– Брось, – сказал Раймонд. – Подожди еще год или два, так же вот, как курить.

И потом Теодор слышал, как Раймонд спрашивал Клоринду, кто это, уж не прислуга ли, пичкает мальчика религией.

– Я не желаю, чтобы ему забивали голову такими вещами, – сказал он. – Мальчик с его складом ума может принять это слишком всерьез.

Как это надо было понимать?

Трудная задача, и отнюдь не привлекательная.

И в то же время это имело, по-видимому, какое-то значение, и довольно-таки угрожающее. В смысле ада, например... Это сбивало с толку, и в этом было что-то неприятное.

А ну его! Стоит ли беспокоиться об этом? Еще будет время. Подождем с этим, как сказал Раймонд. Мысли скользили прочь с величайшей готовностью, и все это проваливалось куда-то в глубину.

Леса Блэпа поднимались, высокие, зеленые, отрадные, и так приятно было вернуться к ним и скакать от опушки к опушке рядом с милой сердцу подругой с высоким челом и спокойными ясными очами.

5

У мальчика есть вкус

Но если религия представляла собой не что иное, как несуразность, недоумение, скуку и какую-то смутную, отдаленную угрозу, искусство – в этом маленьком домике в Блэйпорте – было могущественной реальностью, и еще больше – разговоры об искусстве.

Вы восхищались, защищали, нападали и изобличали. Вы подстерегали и разбивали насмешками. Глаза блестели, щеки пылали. Сюда входила литература – поскольку это было искусство. Социализм – это было движение во имя реабилитации искусства, движение, несколько обремененное и осложненное суровой педантичной четотой Уэббов, пуритан, конечно. Такой-то или такой-то критик был «отъявленным негодяем», а шарлатаны были словно сосновый лес: так тесно и высоко они росли. Здесь были «неучи», и «спекулянты», и «торгаши», и «болтуны», и «фокусники», и целая обширная, разнообразная фауна в этом мире искусства. Здесь были субъекты, которые пытались сбывать анекдоты за новеллы и выдавали сантименты за чувства. Здесь был Джордж Мур, этот, разумеется, был хорош, и Харди, который, пожалуй, был не очень хорош. Джордж Мур утверждал, что он не хорош. И Холл Кэйн и миссис Гэмфри Уорд. Ну, это были просто чудовища. Теодор к четырнадцати годам уже совсем запутался в своих привязанностях. Он был социалистом, приверженцем Средневековья. Он считал машины и станки дьявольщиной, а Манчестер и Бирмингем – собственной резиденцией дьявола. Он мечтал когда-нибудь увидеть Флоренцию и Сиенну.

Вкус у него был развит не по годам. Он изрекал суждения в стиле, весьма напоминавшем стиль Раймонда. Как-то он сказал, что, когда читает «Королеву фей» Спенсера, он чувствует себя, как муха, которая ползает по узору красивых обоев, по узору, который никогда целиком не повторяется, но, кажется, вот-вот повторится. Это было оригинальное сравнение, и им очень восхищались. Он действительно очень старался одолеть «Королеву фей», и это сравнение пришло к нему как-то раз, когда он, лежа утром в кровати, отвлекся от этого шедевра, наблюдая за мухой, ползающей по стене. Но следующую свою остроту насчет Уильяма Морриса, что это старый дуб, которого разве только резчик по дереву и может по-настоящему оценить, он, стремясь повторить свой триумф, выкопал из какого-то старого номера «Сатерди рэвью».

Глядя на картину Уотта «Время, Смерть и Страшный суд», он спрашивал усталым голосом: «Ну, о чем это все?» Он скрывал свое тайное пристрастие к Берлиозу, Оффенбаху (ах, эта баркарола!) и изучал девятую симфонию Бетховена на пианале, пока Клоринда не вышла из себя и не приказала ему прекратить это. Он благодушно критиковал архитектуру в Блэйпорте и моды в блэйпортских магазинах. Он выпросил две японские гравюры, чтобы повесить их у себя в спальне вместо «Мадонны» Рафаэля, которую он находил «скучной». Из эстетических соображений он не носил воротничков и ходил в школу в оранжевом шарфе. Он рисовал декоративные виньетки в стиле Уолтера Крэна на тетрадах, которые выдавали в школе для математики. Ко дню своего рождения, когда ему должно было исполниться четырнадцать лет, он попросил, чтобы ему подарили хорошую книгу о трубадурах.

Даже Раймонд признал:

– У мальчика есть вкус.

Глава вторая

Рыжеволосый мальчик и его сестра

1

Нечто в склянках

В один прекрасный день, вскоре после четырнадцатилетней годовщины своего рождения, Теодор завязал знакомство с совсем иного рода мальчиком и заглянул в совсем иной мир, несколько не похожий на тот, в котором он рос. И, однако, этот мир был почти рядом, не больше мили от его дома. Он обрелся недалеко от пристани Блэйпорта, там, где скалы скромно возвышаются на тридцать, а то и на сорок футов над каймой глинистого песка, где причалено большинство блэйпортских лодок.

Портовая жизнь давно замерла в Блэйпорте. Он сохранил только флотилию веселых лодок и маленьких рыбачьих шлюпок, которые время от времени выезжают на ловлю макрели или возят туристов на рыбную ловлю «патерностером». Приезжих здесь привлекают мол, эспланада, хороший песчаный пляж и какая-то особенная мягкость воздуха. Река Блэй впадает в каменистый заросший морской рукав, который наполовину опоясывает город и делает его почти полуостровом. Рукав извилистый, живописный, а за ним пески, сосновая поросль, сосновые леса и дощечки с надписями «Ходить воспрещается». Чуть-чуть подальше лежит остров Блэй, куда попадают через мост, с западной стороны. Остров Блэй кишит москитами. Там есть устричные отмели, а за ними маленькие деревушки. Там процветает ловля омаров. Маленькие двуколки, запряженные пони, возят устриц и омаров через мост на станцию Пэппорт.

Морской рукав и пески – хорошие места для одиноких странствований. Едва только город остается позади, Теодор сбрасывает с себя маску, и Бэлпингтон Блэпский начинает жить своей таинственной, непостижимой жизнью. Жизнь эта отличается разнообразием. Иногда Бэлпингтон Блэпский бывает нормального человеческого роста – одинокий юноша, скитающийся в поисках неведомого или идущий на свидание. Иногда он, если можно так выразиться, покидает себя, и тогда он способен уменьшаться до любых размеров. Камни превращаются в большие острова или в гряды гор, вздымающихся над песчаной пустыней, по которой движутся армии лилипутов. Раковины на камнях – это хижины колдунов или палатки воинов. Здесь попадаются места, сплошь усеянные белыми, плоскими и очень хрупкими костями – во всяком случае, это что-то очень похожее на тонкие, высохшие кости, – и всюду разбросаны маленькие, легкие коробочки. Такие чудные коробочки – трудно было даже представить себе, что бы это такое могло быть. Может быть, эти разбойники прятали в них свои сокровища?

Всякие чудеса могли происходить под водой, в расщелинах камней среди колеблющихся водорослей. Ибо Бэлпингтон Блэпский обладал чудесным свойством жить под водой, когда ему вздумается, и отважно проникал в эти убежища, откуда стремительно разбежались креветки, и там он сражался с чудовищами-крабами и одолевал их своими сильными руками. Он захватывал пальцами их клешни так, что они не могли пошевелиться ими, и выворачивал их решительно и беспощадно, пока они не отламывались. Тогда крабы смирялись и становились его рабами. Или Бэлпингтон снова принимал свой естественный облик и прислушивался к необычайным вестям из Блэпа, которые приносили ему стремительные морские чайки. Их крики и круги, которые они чертили в воздухе, – это, видите ли, был особый код. И почти всегда Бэлпингтон, поглощенный своими мечтами, тихонько напевал про себя какие-нибудь обрывки арий – Баха, Бетховена, Оффенбаха, Цезаря Франка.

Человеческие существа были помехой. Они привлекали, отталкивали и заставляли его держаться настороже. Они всегда возвращали ему его обычный вид, и он становился Теодором Фыркачом – Бэлпингтоном в изгнании, пока не обгонял их и не оставлял далеко позади. В этот знаменательный день среди обычного окружения на пляже ему попался молодой, одетый в черное пастор, который, держа в руках башмаки и носки, бродил вдалеке по песку, у самого края подернутой рябью воды; потом двое влюбленных, укрывшихся среди камней, разгоряченные и смущенные, она в муслиновой шляпе, съехавшей совсем набок; попозже появились две пожилые дамы с большими бледными зонтиками, с альбомами для рисования, с акварельными красками, кисточками и складными стульчиками, подыскивавшие, по-видимому, «красивый пейзажик» для этюда. Они блуждали врозь, несколько растерянно, склоняли голову набок и время от времени сбрасывали свою артистическую снасть куда-нибудь на сухое место и примеривались к пейзажу, чертя по воздуху руками. Это было похоже на танец. Теодора смутно потянуло присоединиться к их танцу, подойти к ним под предлогом, что он хочет дать им совет и оказать помощь, но он поборол это желание. Вдали, в поле зрения, появился рыжеволосый мальчик.

Его голова высывалась из-за гряды скал, двигаясь вверх и вниз и поворачиваясь из стороны в сторону. Он, по-видимому, был всецело поглощен тем, что делал. Что бы он такое мог делать?

Теодор изменил свой маршрут, чтобы подойти к нему за грядой скал. Мелодия, которую он напевал про себя, замерла, потом снова вернулась и снова замерла в то время, как он предавался своим наблюдениям.

Рыжеволосый мальчик был выше и худее Теодора; вправду сказать, это был довольно нескладный мальчик; одет он был в синюю блузу, очень грязные серые фланелевые штаны, а на ногах у него были полотняные туфли, надетые прямо без носков. Он производил впечатление тринадцатилетнего подростка, вытянувшегося не по летам, а если судить по росту, его можно было принять и за шестнадцатилетнего. Волосы у него были всклокочены, высокий лоб переходил в крутое надбровье с густыми светлыми бровями, которые нависали у него над глазами, а светлые ресницы, казалось, задерживали его взгляд, делая его еще более сосредоточенным. Он все время хмурился; таков был склад его лица. В руках у него был садовый совок, и он то и дело загребал им песок, подносил его к глазам и внимательно разглядывал.

Иногда он высыпал все это. Иногда он бежал с какой-то находкой к стеклянной банке с грязной морской водой и пополнял ее содержимое, и, по-видимому, эта банка была центром всех его операций. Затем он шел обратно копать песок в каком-нибудь другом месте.

На плоском камне ближе к обрыву сверкали на солнце еще шесть или семь банок, выстроенные в ряд, некоторые с водой, некоторые пустые.

Теодору все эти процедуры казались соблазнительно загадочными. Что это – игра? У него была инстинктивная привычка уважать фантазии других и не глазеть на людей со слишком назойливым любопытством. Он продолжал свой путь по камням с сосредоточенным видом, не подходя слишком близко. Он поймал себя на том, что напевает эту «Баркаролу».

Но вот рыжеволосый мальчик оторвался от своих раскопок и поглядел на Теодора приветливо-лукавым взглядом. Теодор весь углубился в созерцание моста, видневшегося вдалеке у острова Блэй. По мосту ехали три повозки сразу!

– Эй! – окликнул рыжеволосый мальчик.

Какое-то смутное побуждение заставило Теодора прикинуться, что он не слышит.

– Эй! – повторил рыжеволосый мальчик несколько громче.

Теодор разрешил себе заметить его присутствие.

– Хэлло, – сказал он и подошел поближе с дружеским видом. – Вы что-то ловите?

– Собираю коллекцию видов, – поправил рыжеволосый мальчик.

– Каких видов?

– А вот исследую их, – сказал рыжеволосый мальчик. – Рассматриваю их в лупу. У меня есть сложный микроскоп.

Это была неведомая страна. Теодор позволил себе обнаружить проникновенное неведение.

– Почему сложный? – спросил он.

– Масса линз и прочих штук. Вы никогда не видели такого микроскопа? Вещи, которые еле видно простым глазом, видишь вот такими большими. – Он изобразил увеличение размера, раздвинув руки по крайней мере на фут.

– Любопытная наука! – сказал Теодор таким тоном, каким мог бы сказать Раймонд.

У рыжеволосого мальчика было широкое веснушчатое лицо, в котором было что-то знакомое, только Теодор не мог определить, что именно. Глаза со светлыми ресницами под нависшими бровями оказались синие, и они смотрели теперь на Теодора с настойчивой дружелюбностью. Руки и ноги у рыжеволосого мальчика были красивой формы, но большие и тоже усеянные веснушками. «Голос у него, точно кошачий мех», – подумал Теодор.

– Биология! – подхватил мальчик. – Только этим я хотел бы заниматься и ничем другим.

– Просто собирать коллекции видов?

– Ну, изучать их. Узнать о них все.

– А есть книги о такого рода вещах?

– Надо самому доискаться. Кому нужны книги?.. Вот разве что... публикации... – сказал рыжеволосый мальчик.

Это была не просто неведомая страна; это был другой мир. Публикации? И все же в этом рыжеволосом мальчике Теодор угадывал что-то очень родственное себе. Он, правда, собирает коллекции видов, но это тоже игра в собирание коллекций и в открытия.

– Хотите посмотреть в микроскоп? – спросил рыжеволосый мальчик.

Теодор отвечал, что он ничего не имеет против.

Действительно ли существует такая штука, как микроскоп?

Предложение рыжеволосого мальчика было сделано, пожалуй, не без задней мысли. Его поведение выдавало, что это был заранее обдуманный план. Но в то же время он разговаривал с какой-то естественной непринужденностью. Он живет, сказал он, вон там, над обрывом, в конце города такой новый дом, с длинным белым флигелем. Там помещается лаборатория. Его отец, профессор Брокстед, из колледжа Кингсуэй, работает здесь во время каникул и когда приезжает на уик-энд. И он, когда вырастет, тоже будет профессором. Когда он уже сделает множество всяких открытий. Вот для этого он и собирает коллекцию видов. Он принес с собой восемь банок на пляж, но что стоит принести с собой восемь пустых банок в мешке, а вот каково тащить их обратно полные! Так вот, если Теодор хочет посмотреть по-настоящему в микроскоп и поможет ему нести банки, «мамочка» – юный Брокстед спохватился и сказал «моя мама» – напоит их обоих чаем.

Теодор задумался. Клоринда может хватиться его и подымет страшный шум, что он опять опоздал к завтраку и так ужасно напугал ее и измучил своим невозможным поведением, но может статься, что она и вовсе не заметит его отсутствия. Он решил рискнуть и отправиться с юным Брокстедом.

2

Обитель микроскопа

Это была необычная атмосфера для Теодора. Так же, как Тедди Брокстед был для него совершенно необычайным существом.

Мир Теодора был довольно ограничен: Блэйпорт, редкие поездки в Лондон, а большей частью родительский дом в Блэйпорте. Все, с чем он сталкивался в школьной среде, было бесцветно, уныло, затаскано и банально. Он иногда ходил в гости к школьным товарищам, и у всех у них семейная обстановка производила впечатление филистерской, пышно или уныло филистерской, – безвкусное нагромождение викторианской мебели и безделушек, лишенных изящества и значения. Но тут обстановка не была филистерской. В ней было какое-то достоинство. И, однако, здесь не чувствовалось Искусство. Это было какое-то особое достоинство. Здесь были любопытные вещи, но они не были ни красивы, ни гармоничны. Они были страшно любопытны. Они говорили. Они пререкались друг с другом.

Некоторые сочетания цветов показались ему просто плохими. Стены в передней были отвратительного кремового цвета, такой цвет можно выбрать только второпях. Кроме того, на нем проступал какой-то бледный бессмысленный узор, так называемый «орнамент», это уже совсем никуда не годилось. Голые зеленовато-серые стены столовой, в которой они пили чай, были холодны, как математика. Бархатные зеленовато-серые шторы не согревали ее. Теодор во всем этом ощущал какую-то слепоту к искусству, если не полное равнодушие. А многочисленные картинки и рисунки, развешанные повсюду, были отнюдь не декоративны. Ему вспомнилась отцовская фраза: «Этот дом не обставлен. Вся мебель в нем просто распахана как попало». Правда, здесь было много старинных цветных ботанических эстампов, висящих в рамках под стеклом, – они были очень эффектны своими отчетливыми глубокими тонами, но большой снимок луны в углу выглядел зловеще, как череп, а картина неизвестного художника – зыбучие пески в Сахаре, освещенные солнцем, – хоть и бросалась в глаза и даже была не лишена некоторого очарования, несомненно, принадлежала к числу тех, про которые Раймонд, не задумываясь, говорил: «Набросок». Миниатюрные бронзовые фигурки каких-то исчезающих рептилий, казалось, попали сюда из какого-нибудь музея, а большая серебряная карака-тица, «преподнесенная профессору Брокстеду ко дню свадьбы от его класса», – из какого-нибудь нечестивого капища. От лаборатории никакой декоративности не требовалось, и она больше понравилась Теодору. В ней было много света, как в хорошей студии, масса склянок с какими-то штуками, длинный стол, белый умывальник, стеклянный шкаф, множество маленьких выдвижных ящичков из светлого дерева и два внушительных, с опущенными лебедиными шеями микроскопа, которые как будто задумались: в них была строгость, которая невольно привлекала. За окном стояло нечто вроде аквариума, в котором все время струилась вода, и в нем плавали какие-то живые существа. На стенах были припилены квадратные листочки бумаги с нанесенными на них черными чертами, а в углу на столе лежала целая кipa бумаг.

– Нам здесь ничего нельзя трогать, – сказал Тедди с нескрываемым благоговением. – Это папины материалы. Мой уголок в этой комнате в том конце.

Они сразу прошли через все комнаты прямо в лабораторию, и Тедди стал показывать Теодору чудеса микроскопа, обнаружив при этом полное знание дела. Теодор научился смотреть, не закрывая другой глаз и не прикрывая его рукой сверху, и по-настоящему почувствовал всю сказочность этих странных, просвечивающих, бессмысленно суесящихся существ. Он удостоился чести исследовать каплю Теддиной крови и поглядел на такие чудеса, как почечные клубочки и потовые железы, раскрашенные и препарированные. Они были извлечены из подкожной клетчатки и внутренностей какого-то ныне искромсанного на куски человеческого существа. Еще ему показали печень, которая когда-то была ответственна за дурные настрое-

ния какого-то человека. Все это было страшно ново для Теодора, и ему было очень трудно сделать какое-нибудь уместное замечание. Но, во всяком случае, он обнаруживал понятливый интерес, а говорил большею частью Тедди. Если Теодор поглощал бесконечные разговоры об искусстве – Тедди слушал обсуждения профессорских докладов, и это, разумеется, давало ему перевес в лаборатории. Но Теодора осенило видение.

– Но ведь это же не только в микроскопе, правда? Это везде, на каждом шагу, на протяжении бесчисленных миль – в слякоти и канавах, во всем мире, – сказал Теодор, стараясь не упустить свою мысль и удержать это мгновенное видение увеличенного микромира, кишашего необыкновенными маленькими существами. – Их, должно быть, миллионы и миллиарды.

Тедди наклонил свою рыжую голову набок, словно этот взгляд на вещи был чем-то совершенно новым для него.

– Конечно, – согласился он, подумав минутку. – Да, они везде.

Не только под объективом микроскопа, но везде. Но вот почему Теодору пришла в голову эта мысль, а не ему самому? Почему ему никогда не приходило это в голову?

Он посмотрел на пол, в окно, на стволы и ветви деревьев и потом снова в лицо Теодору.

Секунду или больше сознание обоих было подавлено тем, что мир, окружающий их, – это просто конспект материальной множественности вселенной, в которой каждый видимый предмет словно корешок переплета необъятной энциклопедии. Снять переплет, и миллионы вещей становятся явными. Привычный мир исчезает, и на его месте выступает кишашая бесконечность клеточек и атомов, волокон и кровяных шариков. Но это было слишком для четырнадцати лет – как, пожалуй, и для большинства из нас, – и, прежде чем они успели пройти расстояние, отделявшее лабораторию от жилых комнат, бездна, скрывающаяся под этой видимой вселенной, снова закрылась, и лужи, сырость и грязь снова стали просто лужами, сыростью и грязью, а вещи, которые видно под микроскопом, просто занятыми, но совершенно незначительными штуками, которые видишь только под микроскопом и нигде больше...

Но хотя ни один из мальчиков не заглянул больше чем на мгновение в эту бездну, которая таится за нашей действительностью и куда врзается пытливый объектив микроскопа, Теодор, во всяком случае, почувствовал угрозу своему вымышленному и обособленному миру.

Он сначала уступал инициативе этого Тедди. Ему было так интересно и любопытно, что он как-то удивительно забыл о себе, о своем собственном столь значительном мире. Теперь его мир снова возвращался к нему – протестующий, восстающий против этой чуждой, враждебной материи, вторгшейся в него. Что он представляет собой, этот оголенный, светлый, с выбеленными стенами, уверенный мир вещей, который величает себя Наукой? Который дает власть этому рыжему мальчишке показывать Теодору букашек с пляжа, точно они его собственные и не могут быть ничем иным, как только тем, что он говорит о них? Какой отпор нужно дать, чтобы восстановить собственное достоинство?

«Вот Уимпердик, тот знал бы», – подумал Теодор и в первый раз в жизни пожалел, что не прислушивался более внимательно к тому, что говорил Уимпердик.

– Было время, когда единственные живые существа на Земле были вот такие, как эти, – сказал рыжеволосый мальчик. – Только покрупнее. От них-то и пошла эволюция.

Эволюция? Может быть, та эволюция, о которой говорил Уимпердик? И дарвинизм?

– Вы верите в Дарвина? – сказал Теодор с оттенком нарочитого удивления в голосе.

– Я верю в эволюцию, – сказал Тедди.

– Я думал, что с Дарвином уже разделились.

– Эволюция существовала до Дарвина.

– И вы верите, что мы когда-то были обезьянами?

– Я знаю это. И пресмыкающимися до того, как сделаться обезьянами, а еще раньше – рыбами. А до того – вот такими существами, как эти. Я думал, что это всем известно.

– Вот уж не знал, чтобы это уж так было известно!

– Вам надо бы послушать папины лекции. Мы проходили через эти ступени все, прежде чем явиться на свет, каждый из нас. Мы все были покрыты волосами, у нас были хвосты, сохранились зачатки жабр. От этого никуда не уйдешь.

– Я этого не знал, – должен был сознаться Теодор.

– Большинство не знает, – сказал Тедди. – Нам не преподают этого в школах. А следовало бы. Но они обходят это. Во всяком случае, стараются обойти молчанием. Как будто можно обойти молчанием вещи, которые происходят всюду каждый день. Но как бы там ни было, они вас здорово сбили с толку. Но все равно, вы не должны думать, что с Дарвином разделались. Нет. Разумеется, на первых порах он немножко ошибался. Но у кого же первые шаги бывают безошибочны?

Речь Тедди слово в слово повторяла объяснения ассистента профессора Брокстеда, пытающегося изложить понятным языком какое-нибудь научное явление смышленому, но неосведомленному студенту. Но разве Теодор мог это знать? Они вошли в светлые, но непривлекательные комнаты, и там их встретила мать Тедди, стройная, тонкая темноволосая женщина, с высоким лбом, белой кожей и синими, приветливо улыбающимися глазами. В ней не было ничего филистерского. Одетая она была в очень хорошенькое, очень простое синее платье с кустарной вышивкой местного производства; она ласково упрекнула их, что они так долго возились в лаборатории, а не пришли раньше выпить чаю.

Голос у нее был такой же мягкий и приятный, как у сына. Она задала Теодору несколько вопросов. Тедди никогда не пришлось бы в голову задавать такие вопросы.

Возродившееся сознание собственного «я» Теодора сразу оживилось от этих расспросов. Кто он такой, в самом деле? Он отвечал, не торопясь, подумав, сопровождая свои ответы безмолвным поясняющим комментарием. Да, он живет в Блэйпорте (Блэппорт? Блэп?). С отцом (он не упомянул о Клоринде). Его отец – это тот самый Бэлпингтон, писатель-критик? Да. (Но не тот, настоящий Бэлпингтон.) Да, он пишет в «Санди рэвью». Да, но основная его работа – это обширный труд по истории варягов. Миссис Брокстед поинтересовалась: кто такие эти варяги? Тедди знает? У Тедди все лицо вспыхнуло яркой краской, свойственной рыжеволосым с белой кожей. Этот Тедди, который столько знал всякой всячины о ракообразных, о простейших и сложных видах животных и тому подобном, по-видимому, никогда не слышал о варягах. Он явно считал бестактным со стороны матери, что она задала такой вопрос. А для Теодора это был удобный случай.

Он принялся рассказывать о варягах. Он мог рассуждать о варягах так же свободно, как Тедди рассуждал об инфузориях и микроскопических животных. Он к этому и приступил. Он бегло описал великий Северный поход норвежцев, русских, датчан и норманнов. Сорвавшись, так сказать, со своих окованных морозом земель, эти готы распространились на восток, на запад и на юг. Готы – это были мы.

По мере того как он описывал шествие этих разрозненных отрядов, войск и флотилий завоевателей, их победы, приключения и рыцарские подвиги, он чувствовал, как Теддин микроскопический мирок отступает и делается все более и более незаметным, как ему и положено. Он скромно умолчал о той роли, которую играл Бэлпингтон Блэпский, – или, может быть, это был его отдаленный предок, теперь снова возродившийся? – возглавлявший этот поход варягов на Волгу и дальше к Черному морю и Константинополю. Набег за набегом совершали они на Константинополь, где многие из них сделались потом телохранителями византийского императора.

Когда они встретились там с английскими и фламандскими крестоносцами, оказалось, что они понимают их язык.

В передней послышались шаги. Миссис Брокстед покосилась на дверь.

Дверь отворилась. Вошла девочка лет тринадцати, самая что ни на есть натуральная тринадцатилетняя девочка – длинноногая, в купальном халатике. Она нерешительно остановилась в дверях, чуть-чуть улыбнулась и с любопытством посмотрела на гостя.

– Ты тоже опоздала! – сказала миссис Брокстед. – Маргарет, это Теодор Бэлпингтон.

Девочка кивнула и села на свободное место против Теодора. Тедди подвинул ей хлеб и масло, и ей налили чашку чая.

– Сливовое варенье! – сказала она, восхищенно повывисив голос.

Но ведь Теодор видел ее тысячи раз.

У нее тот же высокий лоб, те же ласковые глаза. И в то же время это девчонка – школьница с косичками. Дельфийская Сивилла тринадцати лет! Обожает сливовое варенье. Удивительно, непостижимо!

Или она тоже носит маску?

Чепуха! Не будь ослом, Теодор. Это просто случайное сходство.

Он смотрел на нее с искренним изумлением, но она после первого взгляда ни разу не посмотрела на него и занялась хлебом и вареньем.

– Итак, значит, англичане, норвежцы и русские на севере – это все один и тот же народ – варяги, – сказала миссис Брокстед, приходя ему на помощь. – Как это интересно!

Теодор только сейчас заметил, что он прервал свой рассказ и молчит, с тех пор как появилась эта девочка.

– Да, мэм, – пробормотал он и, очнувшись, откусил кусок хлеба с вареньем. Бэлпингтон Блэпский превратился в очень неуклюжего, застенчивого мальчика, который набил себе полный рот хлебом. Это инкогнито мучило его. Он по-детски уставился на свою Сивиллу, которая прикидывалась Маргарет Брокстед, и тщетно пытался придумать какой-нибудь великолепный жест, по которому она могла бы узнать его.

– Я про вас слышала, – сказала Сивилла, кивнув ему. – Вы учитесь в Сент-Артемасской школе.

Теодор поспешил проглотить кусок, чтобы ответить. Как трудно иногда бывает управляться с этим!

– Я учусь там уже больше двух лет.

– Вы тот мальчик, который так разрисовывает свои арифметические тетради, что потом нельзя разобрать цифр.

– Я ненавижу цифры, – сказал Теодор.

3

Наука и история. Первое столкновение

Это было удивительно, непостижимо, страшно увлекательно и вместе с тем как-то обидно – сидеть здесь за чайным столом. Конечно, она не Дельфийская Сивилла, а просто блэй-портская школьница, которая случайно оказалась похожей на эту богиню, и Теодор не знал, рад он или огорчен, что кто-то из смертных может отличаться таким изумительным сходством с королевой его грез. Он должен непременно посмотреть еще раз на картину, когда вернется домой (чай был превосходный, чтобы не сказать больше). Он старался показать себя блестящим юношей, каким он был на самом деле, но это оказалось очень трудно. Только судорожными усилиями он не позволял себе сорваться в бездну непреодолимого молчания, которая подстерегает всех мальчиков, когда они попадают в гости.

– И что же, это был такой обособленный народ, варяги? – спросила миссис Брокстед, выручая его, когда он уже вот-вот готов был сорваться и умолкнуть. – У них что, была где-нибудь собственная страна?

Теодор помолчал секунду, припоминая что-то, но затем снова сделался живой копией Раймонда.

– Это не выяснено, – сказал он. – По-видимому, это название относилось к скандинавам, и в частности к тем скандинавам, которые впоследствии стали русскими. Но датчане и англичане еще задолго до крестовых походов были на службе у византийских императоров.

– А ваш отец дает историю всех этих народов или только тех, что были на службе у византийских императоров?

– Это своего рода эпопея, – сказал Теодор. – У него еще только начаты отдельные куски. Он говорит, что это все разрастается. Он начал с тех варягов, что были телохранителями византийских императоров, но теперь он собирается писать обо всех варягах. И в особенности о Кануте. Канут – это его герой, поскольку в истории вообще может быть герой.

(У него мелькнула мысль, что Бэлпингтон Блэпский был знаком с Канутом. Что они были большие друзья.)

– Канут, – продолжал он, стараясь отыскать в памяти фразу Раймонда. – Ка... У Канута была империя, которая простиралась от Массачусетса до Москвы.

– В наших учебниках истории ничего нет об этом, – заметил Тедди, пользуясь случаем добавить к этому докладу единственное, что он знал о Кануте. – Канут умер в Шэфтсбери. Мы проезжали это место в автомобиле, когда ездили в Корнуэлл.

– Но он жил и там и тут в своих владениях, – сказал Теодор. – Это была необычайно громадная империя, а Шэфтсбери была ее столица. Народ стекался в Шэфтсбери из Винланда в Америке и из Нижнего Новгорода. У Лонгфелло есть поэма об этом.

– Но я никогда не слыхала, что Канут называл себя варягом, – удивилась миссис Брокстед.

– Так его называли финны и константинополи («попыцы» надо было сказать, вот проклятие!).

– Это очень интересно, – сказала миссис Брокстед.

– Ему было всего сорок лет, когда он умер, – продолжал Теодор, и горечь утраты прозвучала в его голосе. – Может быть, он был не менее велик, чем Александр. Да вот не было человека, который мог бы написать о нем. Он только основал эту великую империю и умер, а потом пришли норманны, и начались крестовые походы, и некому было продолжать то, что он начал. Народы перекочевали в другие страны, начали другую жизнь. А какая это могла бы быть империя, мэм! Вы только подумайте! От Америки до России – все северное полушарие. Но мы не могли создать ее.

Маргарет через стол встретила с ним взглядом, и, как ему показалось, сочувствующим взглядом. Поняла ли она, как Бэлпингтон Блэпский скорбел об этой исчезнувшей империи? Какую борьбу он вел, чтобы восстановить ее?

Тедди надоело слушать про этих варягов. Ему казалось, что это самый никчемный народ из всех, о которых он когда-либо слышал. И, во всяком случае, этот Теодор достаточно наговорился.

– Я показал мой микроскоп Бэлпингтону, – сказал он внезапно. – Он никогда не видал микроскопа, – добавил он.

– Я этим не интересовался, – пояснил Теодор матери и дочке.

– А это тоже очень интересно, – сказала миссис Брокстед. – Но вам, если вы интересуетесь историей и книгами, я думаю, не приходится иметь дела с микроскопом?

– Нет, мэм. Мы имеем дело с нормальной величиной, рассматриваем человеческое существо во весь его рост. Историку не нужен микроскоп. Какая польза моему отцу от микроскопа!

Тедди начал спорить с ним:

– Но как вы можете понять человека, если вы не понимаете жизни, а как можно понять жизнь без микроскопа?

– Но человек – это и есть жизнь, – возразил Теодор. – И чтобы видеть его, вовсе не нужен микроскоп.

Тедди вспыхнул от этого аргумента; уши у него стали красные.

– Я не говорил, что нельзя видеть человека, я сказал: понимать его. Как можно знать, что представляет собой человек, если не знаешь, как он устроен?

– Можно наблюдать его, смотреть, что он делает.

– Это не объясняет, как он это делает.

– Нет, объясняет. Если вы...

– Нет, не объясняет.

– История объясняет.

– История рассказывает сказки. История – это сплошь сказки. Вы не можете ее проверить. Это не наука. Это не достоверно.

– Вполне достоверно.

– Да нет же. Ваша устаревшая история...

Спор становился тягостным. Миссис Брокстед вмешалась:

– Вы давно живете в Блэйпорте, Теодор?

4

Возвращение домой

Он возвращался домой в полном смятении чувств. Он не мог никуда поместить этих Брокстедов в том мире, который он знал, и не мог нигде поместить себя рядом с этими Брокстедами. Еще труднее было представить себе, что они о нем думают. Что они говорят о нем сейчас? У него было такое чувство, как если бы кто-то сунул палку в его вселенную и все основательно перемешал. Его Дельфийская Сивилла и весь тот мир, который он создал вокруг нее, все это изменилось. Он еще не отдавал себе отчета, как велика была и в чем заключалась эта перемена.

В этот охваченный смятением мир его грез врезался неприятно обернувшийся спор, который возник между ним и Тедди. Тедди, вооруженный Наукой, Эволюцией и Микроскопом, высказал явное презрение к Истории. Самая уничтожающая вещь, которую позволил себе сказать Тедди, – это что «история не имеет никакого начала». Неприятное утверждение, когда оно подносится тебе неожиданно! По дороге домой Теодор все еще пытался придумать на это достойный ответ.

Раймонд, разумеется, начинал всегда с готов. Но в конце концов у готов есть своя история позади. Каменный век или что-то в этом роде. А до этого, верно, было еще что-то – гориллы и еще какие-то недостающие звенья, эволюция и вот эта штука. Наука сторожила в засаде Историю, а История, возвращаясь назад, попадала в эту западню на съедение Науке. Где же, в сущности, кончалась Наука и начиналась История? Обычно История, возвращаясь назад, упиралась прямехонько в цветущий Эдем и сидела там себе спокойно, пока Наука не сокрушила все преграды и не обратила этот прелестный сад начала всех начал в пучину времени. Зачем уступать дорогу Науке? Зачем соглашаться, что эта пучина времени простирается без конца, без конца? Предположим, он сказал бы, что Библия для него достаточно хорошее начало?

Черт возьми этого Тедди с его микроскопом! А тут еще эта Сивилла – Маргарет, которая слушала все его сбивчивые рассуждения насчет Эволюции, его неудачные ответы. И как раз, когда она только что прониклась сочувствием к этой варяжской империи, волшебному Северному королевству Раймонда... Северное королевство... окованные льдами страны, утраченные Англией... Скрытая Твердыня Севера...

Серый туман плыл над высокими башнями Блэпа, этой могущественной громады примитивной готики, «почти столь же древней, как время». Иногда казалось, что она не существует, но потом она опять начинала существовать несомненно.

Настанет, может быть, день, когда он возьмет ее туда. Она будет скакать рядом с ним по извилистому ущелью.

Он напевал про себя эту «Баркаролу».

5

Наследники

– Почему ты не пришел к чаю? – спросила Клоринда.

– Добрый вечер, мистер Уимпердик. Я познакомился с одним мальчиком, и мы пили чай у него дома. Он мне показывал микроскоп. Страшно интересно.

Мистер Уимпердик угощался джином и виски перед обедом.

У Теодора мелькнула мысль, что он может вытянуть кое-какие полезные возражения из Уимпердика. Присутствие этого джентльмена внезапно сделало его сторонником науки в сегодняшнем споре.

– Замечательный микроскоп! И мы разговаривали о Науке, об Эволюции и тому подобном. Этот мальчик – сын профессора Брокстеда.

– Знаменитый маленький профессор Брокстед из Ассоциации рационалистической прессы, – сказал Уимпердик. – Профессор Брокстед из колледжа Кингсуэй.

Клоринда задумчиво посмотрела на сына. Ей пришла в голову совершенно неожиданная мысль. Через какой-нибудь год-два – как быстро летит время! – Теодор будет взрослым молодым человеком. Чтобы отогнать от себя это неприятное открытие, она заговорила с ним, как с мальчишкой, каким он и был.

– Постарайся привести свой костюм в порядок, а то можно подумать, что ты в нем катался по земле. Пригладь волосы. Поправь галстук. И тогда можешь прийти обедать и рассказать нам все.

Теодор ужаснулся, взглянув на свое отражение в зеркале. Растрепанные темные вихры свисали на лоб, а сзади в волосах торчал какой-то пух. Нос у него был ужасно красный. Рот красный, расплывшийся. Что за рот у него! Его оранжевый галстук съехал набок.

Боги! И она смотрела на это?

Когда он сошел к обеду, Клоринда поразилась, какой у него приглаженный вид. У него даже было что-то вроде пробора на голове. И – ей пришлось посмотреть дважды, чтобы убедиться, – руки у него были чисто вымыты! Он почувствовал, что она заметила все это, и сердце у него сжалось. Но она не сказала ни слова. У нее у самой сжалось сердце. Точно она нашла у себя седой волос.

– Итак, вы посетили знаменитого, прославленного профессора Брокстеда? – спросил Уимпердик.

– Я видел его лабораторию, – сказал Теодор.

– Что же она собой представляет?

– Чистое белое помещение. Окна как в оранжерее. И микроскоп.

Они пожелали узнать все подробно.

Он продлил их ожидание как можно дольше и затем постарался выставить себя сторонником этого, по-видимому, малораспространенного, но увлекательного учения об эволюции. Начнут ли они спорить с ним, попытаются ли обратить его снова в какое-то свое учение, которому они следуют? Но они пренебрегли этим его личным отношением к делу. Их, по-видимому, мало интересовало, верит он в эволюцию или нет. Они ухватились за подробности, которые он сообщил им, и занялись ими. Сначала они еще слушали его, потом стали говорить ему в назидание, а затем, по мере того как их интерес к собственным расхождениям разгорался, позабыли вовсе о нем. Скоро их разговор перешел, как им казалось, за пределы его разумения, и на все его попытки вмешаться не обращалось ни малейшего внимания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.